

...От Чоши 15 верст речка Голубница; от Голубницы 15 верст речка Перепуск. От Перепуска 20 верст речка Вижас; от Вижаса 27 верст река Вама. От Вамы 10 верст 2 речки, обе Снапницы, от Снапниц 30 верст река Пеша. А в Пешу пала из горы из Большого Камени река Пояса. Большого Камени вдоль до моря 230 верст.

А от устья реки Пешы морским ходом 25 верст река Малая Пеша. От Малыя Пешы речка Решительница; от Решительницы 30 верст река Лонга; от Лонги 30 верст река Сая. От Саи 30 верст река Чорная; от Чорной 30 верст река Васильева; а на устье тое реки гора Большой Камень прилегла к морю. А по другои стороне того камени пала в море речка; от тои речки 20 верст река Индега, течет поперег Камени горы, Меньшого Камени, протоку тое реки 170 верст. От Индеги 20 верст речка Железная; от Железныя реки речка Горностаи. А промеж тех речек на море остров Святой Нос, вдоль по тому острову 30 верст; а против Святого Носу на море остров Калгуев; а от Калгуева до морского берегу 120 верст; а из Калгуева острова текут в море 3 реки: Бугрянка, да река Вялимка, да река... А вдоль по тому острову 100 верст, а поперег 50 верст...

Книга Большому Чертежу, 1627

I
КНИГА МЕЧТЫ





Ночь

В ледяном гостиничном номере. Под двумя одеялами. В шерстяных спортивных штанах. Ночь. Дождь за окном.

Зачем? Зачем все это? — я чувствую вдруг, что хочу есть, хочу принять горячий душ.

Что я ищу? Остров? Но он открыт задолго до меня. Остров — моя нелепая выдумка, и не нужно богатого воображения, чтобы представить себе, что там. Плоскость. Тундра. Серое низкое небо, изрытое, как пашня, темными облаками. Тусклое жестяное солнце, которое за тучами и не увидишь ни разу. Чахлые травинки, дрожащие на ветру, аптечные ромашки — триумф летнего полноцветия... Запах сырости, болота повсюду, и морской берег — с запахом только глины, ибо вода почему-то не пахнет. Желтая, ледяная...

В остальном же все, должно быть, так же, как здесь, в Нарьян-Маре, только еще хуже. Такой же холод, та же нищета...

Второй день в гостинице не топят и нет воды. Я набираю воду из колонки на улице в котелок. Утром хватает воды умыться, сполоснуть унитаз, вскипятить чай. Вечером — умыться, смочить полотенце для обтирания, слить унитаз, вскипятить чай. На втором этаже гостиницы есть дверь с надписью «Буфет». Ни разу не видел ее открытой. А ведь это новая, самая дорогая в городе гостиница. Лучшая...

Опять брюзжу. Ночью малодушные мысли заходят в голову, как косяки рыбы. Иногда стая больше, иногда меньше. Иногда вообще ничего не соображаешь: так все трепещется и блестит всякими опасениями, будто мелкая селедка пошла.

Это все из-за того, что приходится ждать вертолет в чужом городе. К тому же москвичи не умеют ждать. Журналисты — особенно.

Я знаю: настоящие мысли всегда появляются *после*. После того, как дело сделано. И нет никакого смысла обращать внимание на эти косяки рыб. Но у меня гайморит. Я физически страдаю от холода. И этот дождь день за днем...

А потом, что это говорил Корепанов про то, что на острове существует как бы два параллельных времени — трезвое и пьяное? И что во второе лучше не попадать... И что чем интереснее, чем обаятельнее человек в трезвом состоянии, тем ужаснее будет он в пьяном... Эта мысль фундаментальнее, чем кажется. Корепанов знает, что говорит: три года он прожил на острове председателем. Запомнился почему-то его рассказ, как остров просыпается к жизни весной: мартовское солнце заливает льды чистым розовым светом, и посреди оглушающей тишины вдруг в темной промоине моря тяжело бьет хвостом белуха... Про каких-то подземных человечков... Про нож...

Нож... К этому я как-то совсем не был готов. Я, откровенно говоря, боюсь. Романтический замысел моего путешествия вышел насквозь лживым: нет ничего менее романтического, чем сегодняшний Север. И я боюсь теперь, что не найду того, что надеялся найти. *Omnia praeclara rara**. Я был предупрежден древними. И за два тысячелетия европейской истории мало что изменилось, разве что для выражения старых истин мы пользуемся теперь новыми

* Все прекрасное редко (лат.). — Здесь и далее примечания автора.

языками: «The beauty is a rare thing»*. Даже в музыке, черт возьми. По тому, что я читал о Севере, казалось возможным отыскать здесь следы некоей *первозданной* красоты. А из того, что мне открылось, ясно, что встретиться, скорее всего, придется с чем-то очень тягостным, может быть даже опасным, как этот нож в руке пьяного...

Опять. Это косяк рыбы. Гони его! Бей веслом по воде, сидя на плоту гостиничной койки! Прочь, мелкота, прочь!

Спрыгиваю с плота и, осторожно ступая босыми ногами по ледяному дну, подхожу к окну. В подслеповатой мгле дождя — серые бараки Нарьян-Мара. Чужой город, в который меня зачем-то занесло... Нет. Я приехал по своей воле. В поисках. Надо спокойно понять: в поисках чего? Смыслов. Смыслов человеческой жизни. Пусть это звучит до глупости высокопарно, но что делать, если мы действительно поставлены лицом к лицу с бессмысленностью существования?

Потому что война — это уже серьезно, это бессмыслица всерьез. Тысячи людей убиты. Уничтожены друг другом. Лишены смысла. В ту ночь, когда я собирался совершить свой первый прыжок на остров, территорией бедствия были Сумгаит, Карабах, Баку... С тех пор список разросся, как раковая опухоль. Семья, дом, мир отдельного человека, его усердие и радость лишены смысла. Смерть собирает свою жатву. Надо смотреть в глаза правде: в глаза нищих, в глаза беженцев, полные отчаяния, в остывшие глаза убитых. *Человеческая жизнь не стоит ни гроша*. В настоящей цене власть. Деньги. Сырье. Оружие.

В настоящей цене, как ни странно, все, что уродует, коверкает жизнь, запутывает ее, рушит, не давая ей подняться, не давая схватиться камням кладки, не давая окрепнуть молодым росткам. У ненависти свои законы. Мы снова живем на краю времен...

* Красота — редкая штука (англ.). Фраза принадлежит пионеру фриджаза Орнетту Коулману.

Я не верю в «права человека», но верю в то, что человек стоит своей человечности. Убитый или обездоленный, лишенный своей доли, судьбы человек — это торжество бессмыслицы и смерти. Во имя чего не пролилась только кровь! Даже во имя Господа. Того, кто собирает людей в человечество, обездоленные призывают, чтобы крепче ненавидеть друг друга. И им удается, они вмещают в душу ненависть, черную, как смола. Ибо душа обречена быть вместилищем — если не любви, то ненависти. Если не смысла, то бессмыслицы...

К чему это я?

Два дня назад я увидел на улице человека, который, дождавшись недолгого перерыва в дожде, приколачивал к стенке сарая на дворе шест с новеньким скворечником наверху. Закончив работу, он несколько раз пристукнул молотком по шляпкам крепко всаженных в дерево гвоздей и удовлетворенно погладил шест ладонью, как бы удостовераясь, что хорошо завершил доброе дело. Я шел в столовую на конец города и, с голоду, что ли, ужасно мерз, и поэтому сразу подумал, что вряд ли скворцы воспользуются гостеприимством этого человека. Уж больно коротко и промозгло здесь лето. Да и август уже — все птицы давно вывели птенцов, им улетать пора, а не искать для гнезда себе место...

Я остановился и спросил, прилетают ли скворцы в эти края.

— Нет, никогда не прилетают, — спокойно ответил он и, сунув в карман молоток, пошел к дому, не желая продолжать никчемный разговор.

Что же, бессмыслицей было деяние этого человека? Нет. Оно было его памятью о радости весны, принесенной на трепещущих крыльях скворцов из Индии и Персии, о радостном биении чистых, как родник, голосов жизни в саду родительского дома или в роще на краю давным-давно оставленного им городка, где птичий гомон перекачивается, как эхо, среди чуть-чуть запушившихся зеленью

деревьев. Скворцы никогда не прилетят в его скворечник. Но сам скворечник — это его молитва о полноте, о весеннем половодье жизни.

О чем молится стрелок, нажимая на курок автомата? О смерти. О том, чтобы больше стало подобных ему, обездоленных, — потому что только они, выдранные с корнем из своей земли, потерявшие судьбу, способны разделять хлеб ненависти друг с другом. Здесь, в Нарьян-Маре, я по радио узнал о начале войны в Абхазии. Об ополченцах и «правительственных войсках», о бомбовом ударе, нанесенном по городу самолетами без опознавательных знаков. О том, что из автоматов расстреляны все обезьяны в Сухумском обезьяньем питомнике... Почему-то это особенно поразило... Я понимаю: после того, что случилось потом в Средней Азии и в Чечне, об обезьянах невозможно вроде бы говорить. И тем не менее. Гибралтарское поверье, что город будет стоять до тех пор, пока в нем живут берберские макаки, наполняется неожиданным смыслом. Не станет обезьян — и город падет...

Почему? Нам не дано знать.

Но вот прошло время — и я оказался в командировке в Абхазии. Набитая пассажирами машина самокатом, экономия бензин, въехала в Гагры — а я даже не понял этого: так все изменилось. Ни человека на улицах. Ни киоска мороженого. Лишь молчаливый дворник с худой шеей сгребает в кучи листья эвкалиптов и в тишине возжигает их, как благовонные курильни. О прежних кофейнях на берегу моря напоминают разве что дыры в асфальте на тех местах, где прежде летом устанавливали полосатые тенты с бахромой. Ржавые остовы разбитых катеров и автомобилей валяются на пляже. Прежде цветущие поселки выжжены, покинуты людьми, одичавшие псы сношаются среди развалин. Прекрасные особняки стоят почерневшие от дыма пожаров, с провалившимися крышами, как гигантские термитники. Песчаник стен обнажился из-под штукатурки, словно

камень понял, что время служения его человеку закончилось и ему хочется вернуться в дикую жизнь природы, в ее нескончаемый круговорот...

Это расплата. Не только за обезьян, но и за них тоже. Во всяком случае, за ненависть, избранную душою в поводиры.

Война начинается там, где люди хотят войны. Не знаю для чего. Может быть, чтоб пред лицом врага вновь почувствовать кровную сплоченность народа? Или чтобы вкусить запретную радость преступления? Или чтобы в боях отыскать достойных вождей себе?

Но только в самом ли деле есть в преступлении радость? В самом ли деле стали люди народом в результате этой войны? И появился ли у народа вождь, которому он мог бы верить?

Может быть, война начинается, чтобы люди в конце концов вспомнили о Боге, который творит из обездоленных человечество. Но как долго суждено ей длиться, чтобы люди исторгли проповедников ненависти из рядов своих? О, до этого далеко... Город еще не разрушен. Мужчины в пятнистых рубашках с закатанными рукавами и с автоматами в сильных руках только-только еще распалились, они исполнены радости бездумной и жестокой игры и еще не догадываются, что война не обойдет никого. Никого из них тоже. Что автомат — хорошая машина для убийства, но плохая защита. От смерти близкого человека. От холода, одиночества, отчаяния, бессмыслицы...

Пока еще лето, жарко. Полно овец в чужих дворах, вина в чужих подвалах. Еще кажется, что стоит выбить врага из-за плетня вон того виноградника — и все. Будет одержана победа...

Что противопоставить этому?

У меня с собою две книги: дневники Михаила Пришвина и сборник прекрасных рассказов Бориса Шергина о мастерах Севера: корабельщиках, судоводителях, сказочниках,

плотниках, промысловиках. Ни один стоящий человек, кажется, не обойден его вниманием. Большая книга, неудобно таскать с собой, а пришлось купить: в Москве такую не найдешь, а книга удивительна. Именно размышлениями о человеческом предназначении. И у Пришвина то же: постоянное вопрошание о смысле жизни и через это вопрошание — поразительное погружение вглубь себя, в жизнь природы. Смыслы жизни — они как цветы в траве, хоть и не прячутся, но сплошь тоже не попадают, чтоб человек их искал, вынужден был искать...

«...Ряд лет я записываю разговорную речь, главным образом у себя на родине, в пределах бывшей Архангельской губернии. Промышляю словесный жемчуг... на пароходах и на шхунах, по пристаням и по берегам песенных рек нашего Севера...»

Шергин производит впечатление какой-то необыкновенной человеческой целостности, неразъятости. Нигде, в дневнике даже, не обнаружишь в нем никакой трещины, никакого излома, без которого немислим уже современный писатель...

А Пришвин очень мучился, прежде чем дошел до спокойного понимания себя и своей задачи, много испытывал, проверял себя — сближением с самыми разными людьми, путешествиями. У него много записей, особенно в молодые годы, которые поражают безысходным внутренним драматизмом, следа которого нет в зрелости, когда это душевное мучение изжито. Вот такая, например, сделанная им в странствиях по Азии: «Нужно умереть от себя...» Все его молодые путешествия тоже умирание от себя, «ураза» — по-киргизски — особый пост от всего привычного. В том числе и от привычного себя тоже: в путешествиях он много узнал о себе такого, что позволило ему потом исцелиться от боли, стать целостным человеком. В записях этого периода есть что-то для меня самого очень важное...

Вчера утром пошел на Печору, к порту, где заметил еще в день приезда старый дом. Почерневший, большой дом, с окнами, выходившими когда-то прямо на реку, но теперь уставленными в длинный забор портового склада. Мне интересно стало — есть ли кто? И непонятно. На крыше взялся расти мох и ромашки. Огородик не возделан, и только крошечная грядка с выпустившимися зонтиками укропа говорила о том, что в доме все же кто-то живет, доживает. И тут как раз в пристроечке отворилась низкая дверка, и из нее выглянула сухонькая старушка в белом платке. Я ее позвал, слово за слово — пригласила в дом, угостила чаем с морошковым вареньем, покормила семгой.

Стала рассказывать.

Про то, как давным-давно Печора разлилась, как моря, и она, со своим еще дедом, изумленная огромностью водного зеркала, плыла, будто летела, над лугами, над покосами, над зарослями прибрежных кустов...

«Дедушко, где берег-то?» Не было берега, только лодка скользит в прозрачной голубизне, дедка и внучка сидят в лодке...

Про мужа своего, что взял ее из деревни в город. Кажется, она и не задумывалась вовсе, хорошо они жили или худо, счастливо или нет. Просто жизнь была трудная, и они вместе преодолевали эту трудность, будто выгребали против течения. А поразительно стало ей, когда его не стало. И когда она поняла, что не было любимее, надежнее, роднее человека на свете...

Он на работу уходил на трое суток: бакены ставили и проверяли на реке, створы. Однажды собрался на вахту. Взял собранный женой мешок с едой. Попрощался. Вышел. Все как всегда. Но едва он дверь затворил, ее будто ожгло: тоска. Тоска по счастью, которого никогда больше не будет. Бросилась за мужем в портовую контору — нет его. На причал — нет. Судно ушло уже на Печору. А через три дня принесли его домой мертвого. Он незадолго как-то на голову

пожаловался: что давит, болит. А так не жаловался никогда ни на что...

Подбила, навсегда сделала ее слабой на сердце смерть четырнадцатилетнего сына, которого она очень ждала и любила, пока рос, особенно, может быть, потому, что он в мать пошел — худенький, тонкокостный. И вот он покупался в Печоре, продрог, пока обсыхал с ребятами у костра, стал кашлять. И не могла вылечить, потому что ходила на работу, не могла ухаживать, только таблетки давала — и все. Когда забрали его в больницу, выяснилось воспаление легких, и стал он хужеть неделя от недели — потому что мальчик большой, положили во взрослую палату, а там мужики курят все время, ему нелегко. «Мне что-то плохо здесь стало, мама...»

— А потом карантин у них стал: привезли двух мужиков, с брюшным ли тифом, что ли, с Коткина. Я к главврачу пошла, чтоб забрать его, сколько лежит, а все его не вылечивают, а тут еще этот тиф... «Отдайте мне», — говорю... «Нет, — отвечает, — он тяжелый, мы не можем таких отправлять, такие отеки большие стали...»

Я смотрю: живот у него поднялся, все... Спрашиваю: «Дак он что, умрет сейчас?»

Умер. Месяц я не спала. На семь килограммов похудала...

Диктофон у меня, как назло, накануне сломался, кнопку записи приходится держать пальцем. Если держать полтора часа, то палец изнемогает до дрожи, ноет. Но я хочу понять, из чего сложилась жизнь человека, что памятно до старости, что самое главное в ней?

Ей приснился сон: край леса. И куст дикой смородины — весь красный, до того осыпан ягодами. Прошло время. Она поехала в Марицу, деревню, откуда родом, пошла в лес. И вот вышла на дувиху, на сенокос и обмерла: потому что увидела то самое место, из своего сна. Опушку

ту и тот самый куст, весь красный от осыпавших его ягод. Край леса: много зеленого, провалы тени меж деревьев, травы качаются — и этот куст, сверкающий, как пламя...

Так что же было в жизни, если оглянуться вспять? Разлив Печоры в детстве, смерть мужа, поразившая ее невозможностью любить его дальше, смерть сына, сделавшая бесполезной ее материнство, — и этот сон, который сбылся.

Почему так, я не знаю. Но что добавишь к этому: «Дедушко, где берег-то?» Полые воды залили землю, птицам гнезда негде свить...

Послезавтра, нет, завтра уже — у меня вертолет. Я должен увидеть свой остров. Зачем-то. Зачем — я пойму уже после того, как увижу. Я не уверен, что делаю все правильно и наилучшим образом, но пока я создаю свой остров, собираю его из собственных мечтаний, книжных цитат и обрывочных рассказов о нем, я живу. Он должен сбыться.

«Создаю!» Я вновь прыгаю на плот гостиничной койки и засыпаю, укрывшись с головой одеялом...

Апология бессмысленных путешествий

Друг мой Петр, мой верный попутчик! Я хочу, чтобы ты знал, как появился остров. Как он становится необходимостью и встает из пучины серым окоемом нетронутого утренним солнцем пляжа, за которым, словно занавес, смыкается полог пышного леса, простирающегося до самых гор вдаль. Или вот — проступает в тумане, пронизанном резкими голосами потревоженных чаек, полоской низкой бурой земли, разбегающейся во все стороны в какой-то торжественной безнадежности и бесприютности. Веришь ли ты, что это — один и тот же остров, остров моей мечты? Я и сам не пойму, лоя в кармане пуховки задубевшими пальцами коробок спичек, как совершилась столь разительная метаморфоза, я и сам еще в недоумении обшариваю взглядом безрадостный берег в надежде разглядеть хоть одно деревцо, хоть один холм, с которого можно было бы обозреть открывающуюся нам окрестность, — но ничего. Мы бредем в броднях по мелкой воде, проталкивая вперед лодку со снаряжением, заглушив мотор, чтоб не сломать винт. Вокруг на несколько километров — пространства

такой же мелкой, тусклой воды. Туман, сквозь который тщится пробиться солнце. Вдруг с липкой глинистой отдели, что тянется все время по правую руку, не пуская нас к берегу, гогоча, кидается в воду огромная стая белошеких казарок — и я просыпаюсь. Ледяной туман, от которого лубенеет и делается неподвижным лицо, оказывается теплыми отблесками огня, потрескивающего в железной печке; отсыревшая одежда сушится на веревке возле трубы, коленом изгибающейся под потолком; возле двери вместо веника прислонены к стене два гусиных крыла, а на сколоченном из досок столе под маленьким оконцем — закопченная кастрюля, над которой клубится ароматный пар только сваренного супа...

Теперь, когда мы насытились, мой верный друг, и живительное тепло разлилось по всему телу и чайник пищит и гулко охает на печке, готовясь закипеть, я, пожалуй, рад был бы пофилософствовать, но сам понимаешь: крепкий горячий чай — это наилучшее философствование из всех возможных.

Крепкий, черный, горячий чай... Я молчу. Но я мог бы сказать! Следи за случаем, Петр, следи за случаем, юноша, ибо случай — отец судьбы. Усмехайся, усмехайся — но я знаю, что говорю. И я жил, полагая, что волен распоряжаться собою. И со мною происходили события, казавшиеся абсолютно случайными (как все в молодости, я думал, что мог бы прочитать другую книгу, или встретиться с другим человеком, или прийти раньше, или опоздать, и тогда то-то случилось бы, а того-то не произошло бы). Но потом оказывается, что ничего подобного: я должен был прочитать именно эту книгу (и, во всяком случае, именно ее прочитал) и встретился именно с тем, с кем повстречался. Взрослость вообще отличается от юношества тем, что стремится все случайности прожитой жизни выстроить в порядок необходимости: и так в один прекрасный день обнаруживается, что ты обставлен случайностями (необходимостями), как

шахматный король, и, чтобы ускользнуть от мата, должен сделать совершенно определенный поступок. Скажем, отправиться на остров, с которым тебя ничего, ровным счетом ничего вроде бы не связывает...

Ты мне не веришь, а это воистину так. Поэтому я и говорю: следи за случаем, Петр! Следи, чтобы горячий чай не проливался тебе на штаны, ибо случай — зерно причинности, ждущее дальнейшего воплощения... Да-да-да, именно это я и хотел сказать: чем толще штаны, тем дольше и нестерпимее будет кипятик жечь твою ногу!

Случайно ли, что первой самостоятельно прочитанной мною книгой был «Робинзон Крузо»? Что проку гадать, раз так было? Первая книга не забывается, и я полюбил ее и, значит, полюбил остров. Ибо, как бы ни рвался домой Робинзон, в жизни его не было ничего лучше тех двадцати восьми лет, что он провел на острове, куда случай забросил его и который он вынужден был полюбить. Да, полюбить! И автор понимает это. Больше того, не отягощенный всеми теми заботами, которые обременяли и печаловали Робинзона, он временами воспевает проникновенную хвалу острову, который предстает перед нами то развернутой цитатой из книги Бытия как твердь среди вод, то как земной прообраз Рая, то как метафора полной независимости и абсолютной свободы человека.

У острова есть своя поэтическая родословная, как есть она у гор, рек, пещер, гротов, возделанных полей и прочих мест, обладающих для человека особенной привлекательностью. Отъединенность, инаковость, замкнутость, тайна — вот первое, что приходит на ум, когда речь заходит об острове. Чувства, которые дарит остров, несоизмеримы с теми, что рождаются в уединении на вершинах гор, но от этого притягательность островов не ослабевает. Об этом прекрасно знают мальчишки и литераторы, и в этом мы с тобой ничем не отличаемся ни от тех, ни от других. Прежде всего нам следует почтительно склонить головы перед

Р. Л. Стивенсоном, который вполне и в совершенстве выразил романтическую концепцию острова в своем «Острове сокровищ». После Дефо и Стивенсона Жюль Верну для усиления «таинственности» острова пришлось привнести в повествование фантастические детали, чем он соблазнил и увлек в сторону целую ветвь писательского рода, сделав своих последователей неисправимыми фантастами. Но остров, какое искушение!

У истоков традиции — «Одиссея» Гомера и «Энеида» Вергилия. Повстречавшиеся островитянину Одиссею острова не просто загадочны, они смертельно опасны. Одиссей — царь на Итаке, но над каждым островом, встающим на пути его странствий, царствует кто-то другой, каждый остров — царство, находящееся в полной власти своего владельца, не обязательно при этом человека.

В раннем Средневековье появляется еще один мотив: поиска, непреодолимого стремления к острову, затерянному где-то в пустыне моря и еще не открытому. Вектор движения бороздящего моря корабля направлен теперь не к дому, а от него, к неведомой земле, которая представляется землей блаженства. Эта земля заставляет долгие годы скитаться по морям святого Брендана Мореплавателя, которого и святым-то делает, собственно, его неутомимое странничество. Как и скитания Энея, его плавания уподоблены духовному деланию, бесконечной молитве. Впрочем, Брендан утверждал, что видел остров, на который спускаются ангелы. Возможно, он и в самом деле нашел его, хотя те из позднейших исследователей, кто поверил в реальность его духовных миражей, все же не смогли подтвердить, что такой действительно существует.

Получившие необыкновенную популярность в эпоху Великих географических открытий выдуманное описание выдуманных же путешествий, переполненные вопиющими небывальщинами, уродами, карлами, описаниями чудес или нелепых обычаев, в конце концов дали плоды в виде

беспощадных сатир Свифта и Рабле, расселивших по островам своих карликов, великанов, гуингнмов и макреонов. Утопия — тоже остров и тоже целиком нафантазированный. Томас Мор написал сатиру наизнанку: образ идеального общества.

Но остров! Остров не может служить лишь сатире, даже если в ней упражняется такой мастер, как Анатолий Франс. Остров зовет художников и поэтов, таясь, как женщина, и, как женщина, мечтая быть открытым и воспетым. В 1843 году с борта американского китобойца на один из Маркизских островов бежит Герман Мелвилл — никому не известный автор еще не написанной книги «Моби Дик», который открывает в гигантской книге островов столь важную для нас тему бегства. Бегства от жестокого устава промышленной службы, бегства от мира, от пошлости человеческих отношений, необходимости принять буржуазные законы и обычаи, бегства от всего. Остров из средоточия опасностей превращается в территорию спасения, становится последней возможностью уцелеть, отыскать истинно человеческие отношения, прикоснуться к величию природы. Сначала для Мелвилла, потом для Гогена («Ноа Ноа»), потом для Рокуэлла Кента, которому в поисках подлинности приходится отступать все дальше от цивилизации — к ледникам Гренландии, чтобы написать свою северную идиллию, «Саламину».

Бегство, и чаще всего бегство неудавшееся, рай, так и не обретенный, сокровище, так и не найденное, — ноты, которые окрашивают тревогой уже книги Мелвилла и Гогена, — в полную силу звучат в произведениях двух современных романистов, в которых магия острова задает невиданное напряжение действию. Это «Волхв» Дж. Фаулза, который через две тысячи лет после «Одиссеи» и «Энеиды» возвращает нас в Средиземноморье, где под спудом забвения и солнечного сна ждут своего продолжения и нового воплощения

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru